

Семен Букчин

Религиозно-нравственная тема в русской "каторжной" литературе

Studia Rossica Posnaniensia 27, 71-77

1996

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННАЯ ТЕМА В РУССКОЙ „КАТОРЖНОЙ” ЛИТЕРАТУРЕ

RELIGIOUS AND MORAL THEMES IN THE RUSSIAN „LABOUR CAMPS”
LITERATURE

СЕМЕН БУКЧИН

ABSTRACT. The problem of the moral transformation of the Russian society is regarded through the analysis of „labour camps” books (Dostoyevsky, Chekov, Solzhenitsin) and the influence of literary „prison” traditions passing from the sphere of pre-revolutionary „Gulag” into the Soviet mode of life.

Семен Букчин, Отдел гуманитарных проблем при Президиуме АН Белорусси, пр. Скорны 68, Минск, Беларусь.

Тюрьма, каторга, ссылка – для русской литературы это все-таки не „тема”, тем более не сфера некоего умственного, культурного, гуманитарного приложения, потому что тюрьма, каторга, ссылка – существенная, важнейшая часть истории России, своеобразно и значительно запечатлевшая характернейшие особенности общественной психологии, духовной трансформации народа. По общему тюремно-каторжного литературного материала это понятие океан безбрежный, берущий свое начало может быть, в *Житии* протопопа Аввакума. Тысячи страниц воспоминаний декабристов, социалистов всех оттенков, *Записки из Мертвого дома* Достоевского, *Остров Сахалин* Чехова и *Сахалин* Власа Дорошевича, *В мире отверженных* Якубовича-Мельшица, а в наши дни *Архипелаг ГУЛАГ* Солженицына, *Крутой маршрут* Евгении Гинзберг, *Колымские рассказы* и *Вишера* Варлама Шаламова, *Перевернутый мир* Льва Самойлова, *Одлян...* Леонида Габышева и многие другие произведения образуют, очерчивают эту громадную и продолжающуюся полниться новыми свидетельствами область русского быта и духа.

Тюрьма как судьба личности в России – в русской литературе это прежде всего размышление о несвободе духовной. Поэтому преодоление тюрьмы разрослось у нас в такое громадное интеллектуальное явление, которое можно обозначить множеством

имен, включая и заточенного в собственном доме Петра Чаадаева. Каторжно-лагерная цепь от Достоевского до Солженицына свидетельствует: через тюрьму, каторгу, лагерь решались в нашей литературе важнейшие духовные и общественные проблемы. Здесь один из корней вопроса о взаимоотношениях государства и личности. И, наверное, самый важный предмет для обсуждения – граница между добром и злом.

Естественно, что эти глобальные проблемы формировались не как нечто самоценное, а в контексте глубочайшего нравственного переворота, через который прошли авторы „каторжных” книг. Этот опыт имел для них решающее значение. Отстраняясь от „проклинающих тюрьму”, Солженицын заявляет: „Я – достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно:

– Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни”¹.

Но также „достаточно посидевший” Достоевский – разве не взрастил и он свою душу в омском остроге? Послушаем Мережковского: Достоевский получил „суровый, но счастливый урок судьбы, без которого не было бы ему выхода на новые пути жизни”². Сам Достоевский свидетельствует в *Записках из Мертвого дома*: „Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошлое, судил себя один неумолчно и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни”³.

Отделяя себя от предшественников, Солженицын подчеркивает: „Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму проклинать”⁴. Но разве не Чехову принадлежат эти слова из письма к Суворину: „Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел – черт меня знает?”⁵. Влас Дорошевич, побывавший на Сахалине через семь лет после Чехова, буквально заболел „мертвым островом”. Свою книгу о сахалинской каторге этот блестящий публицист, „король фельетонистов” считал главным трудом жизни.

¹ А. Солженицын, *Архипелаг ГУЛАГ 1918-1956. Опыт художественного исследования в 3-х томах*, т. 2, Москва 1989, с. 280.

² Д. Мережковский, *Полное собрание сочинений*, т. 7, Москва 1912, с. 95.

³ Ф. М. Достоевский, *Полное собрание сочинений в 30-и томах*, т. 4, Москва 1972, с. 220.

⁴ А. Солженицын, *ук. соч.*, с. 369.

⁵ А. П. Чехов, *Полное собрание сочинений и писем в 30-и томах*, т. 4, *Письма*, Москва 1976, с. 147.

Эти признания – итог прямого вхождения писателей в мир человеческих страданий, искажения самой природы человека. И здесь начало „строгого пересмотра“ жизни, который вслед за Достоевским совершили и Чехов, и Дорошевич, и Солженицын. Но автор *Архипелага...* отрицает эту связь. „Наши просветители, – в который раз повторяет он, – сами не сидевшие, испытывали к узникам только естественное стороннее сочувствие; однако Достоевский, сам сидевший, ратовал за наказания. Об этом стоит задуматься“⁶. Но нет в *Записках из Мертвого дома* призывов к наказаниям. Напротив – есть страстный протест против „этого безграничного господства над телом, кровью и духом такого же, как сам человека, так же созданного брата по закону Христову“⁷. Описание наказания каторжанина плетью Дорошевич назвал „одной из самых потрясающих страниц“ чеховской книги.

Справедливо оттеняя гулаговские порядки до революции и после, Солженицын тем не менее безосновательно отказывает и „сидевшим“ и не „сидевшим“ „нашим просветителям“ в том нравственном перевороте, который совершился в нем самом. О собственной духовной революции он предпочитает говорить в возвышенных тонах:

Ты подымаешься...

Душа твоя, сухая прежде, от страдания *сочает*. Хотя бы не ближних, по-христиански, но близких ты теперь научаешься любить.

И вот вершина:

С тех пор я понял всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (не разбирая впопыхах и носителей добра), – само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство⁸.

Но этот опыт Солженицына только подтверждает то, к чему пришла до него русская литература, исследовавшая дореволюционный ГУЛАГ. Что, в конце концов, означает борьба „со злом в каждом человеке?“. Это безусловно и прежде всего сопротивление разрушению человека в человеке. Но личность и была врагом номер один государственной системы и до революции и в советские времена. Достоевский утверждает в *Записках из Мертвого дома*:

⁶ А. Солженицын, ук. соч., с. 441.

⁷ Ф. М. Достоевский, ук. соч., с. 154.

⁸ А. Солженицын, ук. соч., с. 442.

„...почти всякое самовольное проявление личности в арестанте считается преступлением...”⁹.

Где, в чем была опора человеку, по словам Достоевского, „может быть заживо схороненному в гробу и проснувшемуся в нем...”¹⁰ В религиозно-нравственном поиске в условиях тюрьмы, каторги, лагеря явно различимы два потока – интеллигентский и простонародный. Рефлексирующий интеллигент – достаточно распространенная фигура в русской литературе. Но на каторге это рефлексия особого рода. Для автора *Записок из Мертвого дома* личный „пересмотр жизни” означал отказ от идеологии, почерпнутой в кружке Петрашевского, и поворот к христианским ценностям. Какая-то (не очень большая) часть революционеров народнического толка видела искупление своего „греха” в собственных попытках „просветить” народ, сблизиться с ним. Здесь, видимо, правомерно упомянуть о судьбе крупнейшего исследователя сахалинских айнов, польского и русского ученого Бронислава Пилсудского.

Очевидна драма интеллигентского отчуждения. Народ не принимал интеллигенцию за „своих”. Более того, он решительно не принимал уравнительную идеологию политических, которые, казалось бы, обрели на каторге идеальные условия для своей пропаганды. Влас Дорошевич прямо говорит о пропасти, разделявшей на Сахалине ссыльных революционеров и простой народ, для которого „заступники” оставались „барамн”, „господами”. Не классовая политграмота нужна была более всего простому человеку на каторге, а сочувствие, понимание его ситуации. Об этом тактично напомнил одному из политических старик-раскольник из очерков Дорошевича. Он сказал, что нельзя вести себя „в больнице” как „на улице”, что здесь нужно „просто пожалеть человека”¹¹.

Когда Чехов несколько отстраненно говорит: „...принято думать, что первенство в деле исправления принадлежит церкви и школе...”¹² – это не означает скрытого проницательного взгляда на способы смягчения нравов. Другое дело, какой характер приобретает сама вера в условиях каторги. Не случайно здесь возникают фигуры местных „святых”, вроде описанного Чеховым сахалинского священника Симеона Казанского, в христианском опрощении которого народ видел „свое”, „близкое”. Нетрадиционность приближения к христианским ценностям в условиях тюрьмы, каторги, лагеря, возникновение на этой почве „странного” сектантства –

⁹ Ф. М. Достоевский, ук. соч., с. 67.

¹⁰ Там же.

¹¹ В. Дорошевич, *Политические на Сахалине*, „Русское слово” 1906, № 162.

¹² А. П. Чехов, ук. соч., с. 301.

процессы вполне закономерные. Дорошевич утверждает, что секта „православно верующих христиан“ (так они сами себя называли) „чисто сахалинского происхождения“. „И возникла она, быть может, именно как невольный протест против атеизма каторги“¹³. Недоверие к традиционному православию, отход от него диктовались на каторге и страстным желанием скорейшего обретания „чуда“ и непосредственного участия в нем. Дорошевич рассказывает, что сахалинское „общество православно верующих христиан“ имело 12 „апостолов“, у каждого из которых был собственный „пророк“ („как столб – подпору“). Кроме того, были еще 4 „евангелиста“ – „руки и ноги Христовы“. Во главе общества стоял свой Иисус – каторжанин Тихон Белоножкин. При встрече с Дорошевичем, узнав о его работе на Сахалине, он сказал: „Масла вы в лампадку набрали много. Зажгите ее, чтоб свет был людям. А то зачем и масло?“¹⁴

Эти поиски света на каторге рождали своеобразную религиозную идеологию. „Каждый человек спастись должен, – объясняли Дорошевичу сахалинские сектанты. – А в голодном месте не спасешься, скорее человека съешь. А потому бежать с Сахалина – дело доброе. Духом можно родиться только на материке, где можно трудиться. А для рождения духом надо креститься водой, т.е. переплыть Татарский пролив. Татарский пролив и есть Иордан“¹⁵.

Администрация и официальная церковь преследовали сахалинских сектантов, что, собственно, было частью общегосударственной политики по отношению к религиозным „уклонистам“. Политики, против которой бурно негодовал Иван Аксаков: „Отучать острогом от алкания духовной пищи, не предлагая взамен ничего, отвечать острогом на искреннюю потребность веры, на запросы недремлющей религиозной мысли, острогом доказывать правоту православия – это значит посягать на самое существенное основание святой веры – основание искренности и свободы...“¹⁶.

Отторжение на каторге от традиционной христианской идеологии зафиксировал в своей книге *В мире отверженных* известный народнический деятель Якубович-Мельшин. Он говорит даже о том, что „именно чтение Библии вызывает так часто разные умственные расстройства в простых и набожных людях“. Причина же в том, что „они приступают к ней с глубокою, чисто детскою верою в то, что каждая строка этой святой книги должна быть чиста, благочестива и назидательна, и когда находят вместо того

¹³ В. М. Дорошевич, *Сахалин*, ч. 1, *Каторга*, Москва 1907, с. 356.

¹⁴ Там же, с. 365.

¹⁵ Там же, с. 364.

¹⁶ И. С. Аксаков, *Сочинения в 7-и томах*, т. 4, Москва 1886, с. 72.

правдивую, неприкрашенную хроннку первобытных нравов и жизненных коллизий всякого рода со всеми их темными и порой грязными деталями, то положительно становятся втупик и, не в силах будучи уловить общую одухотворяющую все идею, не знают, что думать”¹⁷.

И все-таки поиск общей одухотворяющей идеи был важен. Достоевский в главе *Праздник Рождества Христова* рассказывает о буквальном преобразении атмосферы в остроге накануне праздника, когда люди, до того черствые, обозленные, стали вдруг добрыми и внимательными: „Кроме врожденного благоговения к великому дню, арестант бессознательно ощущал, что он этим соблюдением праздника как будто соприкасается со всем миром, что не совсем же он, стало быть, отверженец, погнбший человек, ломоть отрезанный, что и в остроге то же, что у людей”¹⁸.

Но это было, по признанию самого же Достоевского, редкое событие. В целом же можно говорить о взаимном отчуждении государственного православия и народного самосознания, особенно проявившемся в условиях каторги. Это отчуждение в общероссийском масштабе Иван Аксаков охарактеризовал как *desoism* „в деле церкви”. И приговор его был суров: „В России не свободна только русская совесть... Оттого и коснеет религиозная мысль, оттого и водворяется мерзость запустения на месте святе, и мертвенность духа заступает жизнь духа, и меч духовный – слово – ржавеет, упраздненный мечом государственным, и у ограды церковной стоят не грозные ангелы Божии, охраняющие ее входы и выходы, а жандармы и квартальные надзиратели как орудия государственной власти – эти стражи нашего русского душеспасения, охранители догматов Русской православной церкви, блюстители и руководители русской совести...”¹⁹.

Об этой же беде предупреждал и Владимир Соловьев: „Каковы бы ни были внутренне присущие русскому народу качества, они не могут проявляться нормальным образом, пока его совесть и его мысль остаются парализованными правящим насилием и обскурантизмом. Прежде всего необходимо дать свободный доступ чистому воздуху и свету, снять искусственные преграды, удерживающие религиозный дух нашей нации в обособлении и бездеятельности, надо открыть ему прямой путь к полной и живой истине”²⁰.

¹⁷ Л. Мельшин, *В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. В 2-х томах*, т. 1, Санкт-Петербург 1903, с. 169.

¹⁸ Ф. М. Достоевский, *ук. соч.*, с. 105.

¹⁹ И. А. Аксаков, *ук. соч.*, с. 83-84.

²⁰ В. Соловьев, *Русская идея*, Санкт-Петербург 1991, с. 61-62.

Каторга ярче, чем в обыденной жизни, высвечивала общественные пороки, ибо была зеркальным отражением „большого” государства, его морали и быта. Религиозный десоциум рухнул в эпоху большевистского переворота, когда народ в бешеной слепоте сам начал крушить все вокруг, в том числе своих близких и свои храмы. Русская религиозность оказалась мифом, о котором предупредила общество каторга. Может быть, и поэтому дореволюционный ГУЛАГ приобрел космические размеры в сталинскую эпоху, сохранив прежнюю цель – уничтожение человека в человеке.

Сегодняшняя повальная мода на религиозность, якобы заменившую старую коммунистическую идеологию, является по сути все той же декорацией, за которой пустота. Государство живет по старым каторжным законам, четко уловленным русскими писателями еще в XIX веке. ГУЛАГ продолжает мстить своими привычками, традициями и в новой „демократической” жизни, ибо нет в ней еще аксаковского „духа истины, духа любви, духа свободы...”.